Сергей Шаргунов

Как я был алтарником

Часть сборника
Трава была зеленее, или
Писатели о своем детстве

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«В четыре года на Пасхальной неделе я первый раз оказался в алтаре. В храме Всех Скорбящих Радости, похожем на каменный кулич, большом и гулком, с круглым куполом и мраморными драматичными ангелочками внутри на стенах.

Через годы я восстановлю для себя картину…»

- Сергей Шаргунов
  - ○

Сергей Шаргунов
Как я был алтарником

В четыре года на Пасхальной неделе я первый раз оказался в алтаре. В храме Всех Скорбящих Радости, похожем на каменный кулич, большом и гулком, с круглым куполом и мраморными драматичными ангелочками внутри на стенах.

Через годы я восстановлю для себя картину.

Настоятелем был актер (по образованию и призванию) архиепископ Киприан. Седой, невысокий, плотный дядька Черномор. Он любил театр, ресторан и баню. Киприан был советский и светский, хотя, говорят, горячо верующий. Очаровательный тип напористого курортника. Он выходил на амвон и обличал нейтронную бомбу, которая убивает людей, но оставляет вещи. Это символ Запада. (Он даже ездил агитировать за «красных» в гости к священнику Меню и академику Шафаревичу.) На Новый год он призывал не соблюдать рождественский пост: «Пейте сладко, кушайте колбаску!» Еще он говорил о рае: «У нас есть куда пойти человеку. Райсовет! Райком! Райсобес!» Его не смущала концовка последнего слова. Папе он рассказывал про то, как пел Ворошилов на банкете в Кремле. Подошел и басом наизусть затянул сложный тропарь перенесению мощей святителя Николая. А моя мама помнила Киприана молодым и угольно-черным. Она жила девочкой рядом и заходила сюда. «На колени! Сталин болен!» – и люди валились на каменные плиты этого большого храма. Каменные плиты, местами покрытые узорчатым железом.

Однажды Киприан подвозил нас до дома на своей «Волге».

– Муж тебе в театр ходить разрешает? А в кино? – спрашивал он у мамы.

Меня спросил, когда доехали:

– Папа строгий?

– Добрый, – пискнул я к удовольствию родителей.

– Телевизор дает смотреть?

– Да, – наврал я, хотя телевизор отсутствовал.

И вот, в свои четыре, в год смены Андропова на Черненко, на Светлой седмице я первый раз вошел в алтарь.

Стихаря, то есть облачения, для такого маленького служки не было, и я остался в рубашке и штанах с подтяжками. Архиерей обнял мою голову, наклонившись с оханьем: пена бороды, красногубый, роскошная золотая шапка с вставленными эмалевыми иконками. Расцеловав в щечки («Христос воскресе!

Что надо отвечать? Не забыл? Герой!») и усадив на железный стул, поставил мне на коленки окованное старинное Евангелие. Оно было размером с мое туловище.

Потом встал рядом, согнулся, обняв за шею (рукав облачения был ласково-гладким), и просипел:

– Смотри, милый, сейчас рыбка выплывет!

Старая монахиня в черном с большим стальным фотоаппаратом произвела еле слышный щелчок.

Я навсегда запомнил, что Киприан сказал вместо птичка – рыбка. Возможно, потому, что мы находились в алтаре, а рыба – древний символ Церкви.

В отличие от папы, сосредоточенного, серьезного, отрицавшего советскую власть, остальные в алтаре выглядели раскованно. Там был дьякон Геннадий, гулкий весельчак, щекастый, в круглых маленьких очках. Сознательно безбородый («Ангелы же без бороды»). «И тросом был поднят на небо», – при мне прочитал он протяжно на весь храм, перепутав какое-то церковнославянское слово, и после хохотал над своей ошибкой, трясясь щеками и оглаживая живот под атласной тканью, и все спрашивал сам себя: «На лифте, что ли?»

В наступившие следом годы свободы его изобьют в электричке и вышибут глаз вместе со стеклышком очков…

В алтаре была та самая старуха в черном одеянии, Мария, по-доброму меня распекавшая и поившая кагором с кипятком из серебряной чашечки – напиток был того же цвета, что и обложка книжки Маяковского «У меня растут года», которую она подарила мне в честь Первого мая.

– Матушка Мария, а где моя фотография? – спросил я.

– Какая фотография?

– Ну, та! С владыкой! Где я первый раз у вас!

– Тише, тише, не шуми, громче хора орешь… В доме моем карточка. В надежном месте. Я альбом важный составляю. Владыка благословил. Всех, кто служит у нас, подшиваю: и старого, и малого…

Под конец жизни ее лишат квартиры аферисты…

С ужасом думаю: а вдруг не приютил ее ни один монастырь? Где доживала она свои дни? А что с альбомом? Выбросили на помойку?

Еще был в алтаре протоиерей Борис, будущий настоятель. Любитель борща, пирожков с потрохами (их отлично пекла его матушка). Мясистое лицо пирата с косым шрамом, поросшее жесткой шерстью. Он прикрикивал на алтарников: «У семи нянек дитя без глазу!» Он подражал архиерею в театральности. Молился, бормоча и всхлипывая, закатывая глаза к семисвечнику:

руки воздеты и распахнуты ладони. Колыхалась за его спиной пурпурная завеса. Я следил, затаив дыхание.

В 91-м отец Борис поддержит ГКЧП и, когда танки покинут Москву, сразу постареет, станет сонлив и безразличен ко всему…

За порогом алтаря был еще староста, мирское лицо, назначенное властями («кагэбэшник», – шептались родители), благообразный шотландский граф с голым черепом, молчаливый и печальный, но мне он каждый раз дарил карамельку и подмигивал задорно.

А владыка Киприан здесь и умер, в этом красивом просторном храме, на антресолях, куда вели долгие каменные ступеньки, мартовским утром, незадолго до перестройки. Остановилось сердце. Среди старушек мелькнула легенда, что он споткнулся на ступенях и покатился, но было не так, конечно.

В перестройку церквям разрешили звонить в колокола. Колокола еще не повесили. Регентша левого хора, рыжая востроносая тетя, захватила меня с собой – под небеса, на разведку. Путь почему-то был дико сложен. Полчаса мы карабкались ржавыми лесенками, чихали среди желтых груд сталинских газет, задыхались в узких и бесконечных лазах и все же достигли голой площадки, перламутрово-скользкой от птичьего помета. Я стоял на итоговой лесенке, высунув голову из люка. Женщина, отважно выскочив, закружилась на одной ноге и чуть не улетела вниз, но я спасительно схватил ее за другую ногу, и серая юбка накрыла мою голову, как шатер.

Я любил этот торжественный огромный храм, я там почти не скучал, хотя и был невольником отца. Дома я продолжал службу, только играл уже в священника. Возглашал молитвы, размахивал часами на цепочке, как кадилом, потрясал маминым платком над жестянкой с иголками, словно платом над чашей…

И вот раз вечерком, наигравшись в папу, который на работе, я заглянул в ванную, где гремел слесарь.

– В попа играешь! – сказал он устало и раздраженно, заставив меня остолбенеть. – Ладно, не мухлюй. У меня ушки на макушке. Запомни мои слова: не верь этому делу! Я тоже раньше в церковь ходил, мать моя больно божественная была. Потом передачу послушал, присмотрелся, что за люди там, старые и глупые, да те, кто с них деньги тянет, и до свидания. Спасибо, наелся! – ребром почернелой ладони он провел возле горла.

Ни жив ни мертв, я покинул ванную и молча сидел в комнате, вслушиваясь, когда же он уйдет.

В девять лет меня наконец-то нарядили в стихарь, сшитый специально монахиней Марией, белый, пронизанный золотыми нитками, с золотистыми шариками пуговиц по бокам, длинный,

ботинки не видны.

Я стал выходить с большой свечой к народу во время чтения Евангелия. Помню, как стоял первый раз, и свеча, тяжелая, шаталась, воск заливал руки, точно кошка царапает, но надо было терпеть. Зато потом приятно отколупывать застывшую холодную чешую. В те же девять я впервые читал на весь храм молитву – к Причащению. Захлебывался, тонул, выныривал, мой голос звенел у меня в ушах – плаксиво и противно, и вертелась между славянских строк одна мысль: а если собьюсь и замолчу, а если брошу, если захлопну сейчас молитвослов, выбегу прочь в шум машин – что тогда?..

Накануне краха СССР папе дали беленький храм по соседству, мне было одиннадцать. Внутри находились швейные цеха, стояли станки в два этажа, работники не хотели уходить и скандалили с теснившей их общиной, – правильно почуяв, что больше реальности не нужны. Помню первый молебен в храме. Толпа молилась среди руин, свечи крепили между кирпичами. Маленькая часть храма была отгорожена фанерой, и оттуда вопреки звонам кадила звонил телефон, вопреки хору доносился злой женский голос: «Алло! Громче, Оль! А то галдят!» – и вопреки ладану сочился табачный дым, но дни конторы с длинным трудным названием были кончены.

Церковь восстанавливалась быстро. За советским слоем, как будто вслед заклинанию, открылся досоветский. На своде вылезла фреска: чудо на Тивериадском озере, реализм конца девятнадцатого века: много сини, мускулистые тела, подводная стайка рыб, кораблик. Во дворе, где меняли трубы, обнаружилось кладбище, и картонная коробка, полная темных костей, долго хранилась от непогоды под грузовиком за храмом, после с панихидой их зарыли, я разжигал уголь для кадила и обжег палец так, что ноготь почернел и слез. В самом храме завелся неуловимый сверчок – хулиган, любивший отвечать возгласам священника на опережение, быстрее, чем хор. Дорога на колокольню оказалась несложной – прямой. Колокола поднимали целый день. На следующее утро затемно я ударил железом о железо и неистовствовал, грохоча, а гражданин из дома поблизости, в ужасе проснувшийся в новом мире, ворвался в храм, умоляя дать ему поспать.

Сын настоятеля, я начинал алтарничать, уже догадываясь, что все, кто рядом – мальчишки и мужчины, – обречены по законам этой проточной жизни, по правилам любого человеческого сообщества рано или поздно исчезнуть. Мальчики вырастут и пошлют своих набожных матерей, кто-то оскорбится на что-нибудь и сорвет стихарь, кто-то пострижется в монахи или станет

священником и уедет на другой приход. Кто-то умрет, как один светлый человек, синеглазый, чернобородый, тонкоголосый, очень любивший Божию Матерь. Он годами оборонялся от наркотиков, но завернула в гости подружка из прошлого, сорвался и вскоре погиб…

К двенадцати мне стало скучно в храме, но я был послушным сыном. Я все мечтал о приключении: пожар или нападут на храм сатанисты-головорезы – выступлю героем и всех избавлю, и восхищенно зарозовеет девочка Тоня из многодетной семьи. Миниатюрная, нежная, шелковая, она стоит со своей очкастой мамой и восьмью родными и приемными братиками и сестрами на переднем крае народа: я подсматриваю за ней сквозь щели алтарной двери и кручу комок воска между пальцев.

Как-то осенью в 92-м году, когда я приехал с папой на вечернюю службу, как всегда, заранее, мне выпало приключение.

Людей было мало, десяток, папа скрылся в алтаре, я замешкался и вдруг повернулся на стремительный шум. Из дальнего предела пробежал человек, прижимая к груди квадратный предмет. Икона! Он рванул железную дверь. «Господи!» – выдохнула прислужница от подсвечника, блаженная тетеря. В два прыжка я достиг дверей и выскочил за ним.

Я не чувствовал холода в своей безрукавке, нацеленный вперед на синюю куртку. Он перебежал Большую Ордынку. Дети бегают легко, я почти догнал его. Он глянул через плечо и тотчас пошел широким шагом. Я на мгновение тоже притормозил, но затем побежал еще скорее, хотя увидел себя со стороны: маленького и беззащитного.

Он стоял возле каменных белых ворот Марфомариинской обители. Руки на груди. Я остановился в пяти шагах со сжатыми кулаками и выпрыгивающим сердцем.

Он тихо позвал:

– Ну, щенок! Иди сюда!

– Отдайте икону! – закричал я на «вы».

Он быстро закрутил головой, окидывая улицу. Подмога за мной не спешила. Вечерне-осенние прохожие были никчемны. У него торчала борода, похожая на топор. Может быть, отпущенная специально, чтобы не вызывать подозрений в храмах.

– Какую икону? – сказал он еще тише.

– Нашу! – Я сделал шаг и добавил с сомнением: – Она у вас под курткой.

– Спокойной ночи, малыши! – сказал он раздельно.

Резко дернулся, с неожиданной прытью понесся дальше, опять перебежал улицу и растворился.

Я перебежал за ним – и пошел обратно. Звонил колокол. При

входе в храм было много людей, они текли, приветствовали меня умиленно, не ведая о происшествии, я кивал им и почему-то не сразу решился войти внутрь, как будто во мне сейчас опознают вора.

Там же в храме однажды я видел, что еще бывает с иконой. Святитель Николай покрылся влагой, и отец служил молебен. Я стоял боком к иконе, держал перед отцом книгу, тот, дочитав разворот, перелистывал страницу. А я косился на загадочный, желто-коричневый, густой, как слиток меда, образ, по которому тянулись новорожденные сверкающие полосы. После вслед за остальными целовал, вдыхая глубоко сладкий мягкий запах. Целуя, подумал: «Почему, почему же я равнодушен?»

На том молебне нас фотографировали у иконы, но больше, понятно, саму икону, и, говорят, одна фотография тоже замироточила.

Меня возили в самые разнообразные святые места, монастыри, показывали нетленные мощи и плачущие лики, я знал знаменитых старцев, проповедников, с головой окунался в обжигающие студеные источники, но оставался безучастен.

Был везде, разве что не был на Пасху в иерусалимском храме Гроба Господня, где, как считается, небесный огонь ниспадает, и божественные молнии мешаются с бликами фотоаппаратов…

Были ли озарения, касания благодати?

Было иное. Летним душным днем прислуживал всю литургию, и уже на молебне, при последних его звуках зарябило в глазах. В полной темноте вместе со всеми подошел к аналою с иконой праздника, приложился лбом со стуком и, интуитивно узнав в толпе добрую женщину-звонаря, прошелестел: «Я умираю…» – и упал на нее.

Или – спозаранку на морозце колол лед возле паперти, красное солнце обжигало недоспавшие глаза, в тепле алтаря встал на колени, распластался, нагнул голову и среди терпкого дыма ладана не заметил, как заснул.

Было еще и вот что: прощальный крестный ход. Семнадцатилетний, на Пасху, я шел впереди процессии с деревянной палкой, увенчанной фонарем о четырех цветных стеклах, внутри которого бился на фитиле огонек. Накануне школьного выпускного. Давно уже я отлынивал от церкви, но в эту ночь оделся в ярко-желтый конфетный стихарь и пошел – ради праздника и чтобы доставить папе радость.

Я держал фонарь ровно и твердо, как профи, и негромко подпевал молитвенной песне, знакомой с детства. Следом двигались священники в увесистых красных облачениях и с красными свечами. Летели фотовспышки. Теплый ветерок

приносил девичье пение хористок и гудение множества людей, которые (я видел это и не видя) брели косолапо, потому что то и дело зажигали друг у друга свечи, каждый за время хода обязательно потеряет огонек и обязательно снова вернет – так по нескольку раз. А мой огонь был защищен стеклами. Я медленно, уверенно шел, подпевая, мысли были далеко…

Впереди была юность, так не похожая на детство. Я скосил глаз на яркое пятно. Щиток рекламы за оградой: «Ночь твоя! Добавь огня!». «Похристосуюсь пару раз, потом выйду и покурю», – подумал с глухим самодовольством подростка и подтянул чуть громче: «Ангелы поют на небеси…», и неожиданно где-то внутри кольнуло.

И навсегда запомнилась эта весенняя ночь за пять минут до Пасхи, я орал «Воистину воскресе!» и пел громко, и пылали щеки, и христосовался с каждым.

И никуда не вышел за всю службу, как будто притянуло к оголенному проводу.

Но потом все равно была юность, не похожая на детство.